



собственно, и не нужно было: знай себе, как акын, записывай, что вспоминается.

Он "подарком" был доволен ужасно. До смешного. Звонил, как повелось, ночами, мне же зачитывал куски моего собственного сочинения, комментировал и уже утрированно тянул на самой низкой ноте голоса: "Ну па-че-му-у??". На сей раз "па-че-му" относилось к публикации. Несмотря на уговор, он страстно хотел увидеть сей опус напечатанным. И сколько я ни пыталась ему объяснить, что в подобном жанре написанную вещь никто не напечатает, а для изданий, где мне готовы пойти навстречу, слишком велик объем, и что писалось это **только** для него (в этом и был смысл подарка) — он ничего такого знать не хотел. Дела его в последнее время были не слишком хороши, его преследовали настоящие, не вымышленные, несчастья. Он тосковал, его мучили предчувствия и ощущение

собственной никому ненужности. И почему-то ему казалось, что напечатать я "Картинки", все сразу изменится. Вбил себе это в голову, и не сдвинуть ничем. Чудо, однако, почти случилось. В хорошем ленинградском журнале материал понравился и его решили печатать. Но журнальный производственный цикл долго, за это время успел уйти редактор, а тот, кто занял его место, попросил заменить имя на подлинное. Иначе, мол, смысла печатать нет. Ха-ха "Чудо" получилось чисто богатыревское: по усам текло, а в рот не попало. С ним частенько так бывало. Куда чаще, чем наоборот.

А потом в пять утра однажды раздался прерывистый междугородний звонок. Кроме Юры, никто в такое время не звонил, и, ругаясь, я босиком, полусонная попрыгала на цыпочках к телефону. Звонил наш общий друг, который плача сказал, что два часа назад

Юры не стало.

Перед этим меркнет все. Осталось только ужасное чувство вины, никогда по-настоящему не высказанная любовь, боль, которая с годами притупилась. Вновь эту боль всколыхнули, расцарапали старую рану передачи Леонида Филатова "Чтобы помнили", посвященные Юрию Богатыреву, Юрочке. Тут из старой папки и вынырнули "Картинки Муромцева", десять лет благополучно там дремавшие. Юрочкин подарок к сорокалетию.

Ну что ж, пусть эта публикация будет нашим общим — моим и газеты "Экран и сцена" — подарком ему на пятидесятилетие. Чтобы знал: мы помним...

Ирина ПАВЛОВА

# Муромцева



вить уже свою собственную профессиональную пригодность. А кому охота?

Себя под сомнение поставить духу не хватило, и пришлось усомниться в идее всеобщей познаваемости. На этом мы с Муромцевым (знакомым тогда еще лишь по экранному его ролям) и сошлись.

Много позже мне стало ясно, что искать в сыгранных ролях разгадку личности Муромцева — занятие бессмысленное и бесперспективное. Он прятал себя тщательнейшим образом, и ни капли не походил ни на одного из своих героев. Ни на того, что был отважным и отчаянным суперменом с чистой, ясной, простой душой; ни на того, что казался рыл и мякотел, почти бесформен, а под этой нелепой оболочкой таил дар великой любви и талант ощущать правду почти физически; ни на того, что был умен, ловок, красив, удачлив и весел, но чья драма, пережитая давным-давно, оставила на душе грубые болезненные рубцы.

Роль — самых разных — было множество. Всегда они были неожиданны (к вечной его неожиданности так и не можешь привыкнуть), но даже лица его на сцене и экране, подчас вовсе без грима, мало походили на его собственное лицо.

И впервые мне показалось, что я знаю его настоящего, когда он показывал мне свои картины. Прежде всего — автопортреты. Лицо грустного клоуна, с большими губами и крохотным цилиндром на макушке. Со светлыми детскими глазами в белых ресницах. И глаза эти словно еще хранят отблеск улыбки, память о ней, но в них уже и расте-

рянность медленного перехода к печали, и — краешком — сама эта печаль. Или вот другой: огромный верзила, обнявший за плечи маленькую хрупкую женщину у палисадника. Рисунок по мотивам известной современной пьесы. У женщины — лицо знаменитой актрисы, неправильное, одухотворенное. Трагические кроткие глаза в пол-лица. У верзилы — лицо Муромцева. Только фигура излучает силу, мощь, надежность, а лицо — снова детское, удивленное, беззащитное.

Пытаюсь представить себе такое выражение на реальном лице, воспроизвести его в памяти, и не могу: со мною он таким никогда не был, даже когда тянул свое горестное "па-че-му". А ощущение словно было, было у него когда-то именно такое лицо. Точно помню. Но когда, где?

Воспоминание вспыхивает внезапно и резко.

Зима. Светлоглазый мальчик-юноша, замотанный башлыком. Суровое напутствие жесткого старика-отца. Мальчик храбрится, держится, даже пыгается улыбнуться, но пухлые губы не слушаются, дрожат и кривятся, а в глазах стоят непролитые слезы, смятение, тоска. Такой беленький, чистый, совсем русский мальчик с нежною, прямо девичьей душой.

И до конца бы додержался, наверное, не заголосо по нем провожающие. Тогда только и разрыдался. Но не было в слезах его облегчения, успокоения, выплаканной боли. Было чувство безнадежной утраты самого важного в жизни и дорогого.

И потом, когда годы спустя, уверенный,

элегантный, решительный и везучий человек будет тормошить своего кроткого увальня-друга, воспоминание о нежном мальчике, которого безжалостно перемололи и перелепили в этого веселого красавца, занозой будет впиваться в сердце.

— Слушай, Муромец, я, конечно, понимаю, это роль, это игра, кино и все такое, но скажи по правде: тот мальчик скорбный был ты?

— Я? Пожалуй. Да не, конечно, я. Очень, знаешь, хотелось другую роль сыграть. Того, которого я тормошу. Не вышло. Но ведь в том эпизоде я показал, что мог бы, правда? А ведь как хотел сыграть.

Муромцев даже опечалился сразу, что-то вспоминая. То ли про мальчика того, то ли про себя, то ли про несыгранную роль.

Перебираем молча рисунки. Портреты коллег. Необычные, очень красивые, прямо декоративные. Очень похожие (на тех, кого изображают, конечно, а не на друг друга!). Вот во фраке и цилиндре актер, который великолепно танцует, поет, острит. Небрежная поза фата и лицо философа. Очень хороший актер. Он не виноват, что все от него непременно ждут песен, танцев и острог. Но веселого тут мало, и он невесел. Вот с пером, пером за ухом другой актер, чьи злые кусачие эпиграммы на коллег и знакомых тут же превращаются в фольклор, передаваясь из уст в уста. Умный пронизательный взгляд. Мефистофельски заострены черты, а общее выражение тем не менее доброе и усталое. Такой добрый усталый Мефистофель. Капельку разочарованный в себе самом.

А рядом — внезапно экспрессивные, яростные, стремительные композиции: фантазии на темы любимых пьес, спектаклей, фильмов.

..Лиловое, черное, белое. Сплетенные в смертельном объятии фигуры. Разодранной воплем багровый рот. Сведенные судорогой пальцы с острыми ногтями. Это "Гибель богов" Висконти. Сильное эмоциональное потрясение.

..Оцепенелая скрюченная женская фигурка. Черно-коричневая. Маленький узелок у ног. Зеленое страшное небо за спиной. Зеленая страшная вода впереди. Изученная рябью лунная дорожка. "Леди Макбет Мценского уезда".

В причудливой декаданской позе прекрасная изысканная дама в кресле. Зеленое, лиловое, белое, кружевное. Маска страдания на тонком лице. Но страдание какое-то поверхностное, что ли. Или поза уж больно продуманная, с явным прицелом быть замеченной и оцененной. Раневская, "Вишневый сад".

Ощущение такое, что автор рисунков, прежде чем браться за лист ватмана, сам сыграл все роли, всех своих персонажей. Побывал в образе и поющего-танцующего философа, и усталого Мефистофеля с его эпиграммами, и сам посидел, скорчившись, у жутковатой лунной дорожки.

— Скажи, а ты сам не замечал, что на твоих картинках нет улыбающихся глаз? Губы иной раз улыбаются, а глаза — никогда.

— Здравствуй, приехали! Я рисую, и я не замечал!

— Ну так что ж, так уж они все и печальные, что ли?

— Нет, наверное. Да какая разница, если... Ну, понимаешь, если мне их как-то жаль всех, когда я их рисую!

Ах, Муромцев, Муромцев, славный ты мой человек, еще один очередной ключик мне подбрасываешь. "Мне их жалько всех..." Вот что интересно: сколько разных дураков и мерзавцев переиграл на сцене и в кино, сколько пустозвонов, трусов и врунов. Конечно, хороших, благородных, умных, храбрых, честных было куда больше, но этих-то как много было! И хоть убей, ни одного из них не хотелось заклеить. Он их не разоблачал. Он влезал в шкуру каждого, обживал ее как дом, и начинал понимать почему так, а не иначе живет, и думает, и поступает этот человек. (Вот оно, вечное муромцево "па-че-му"? И ему делалось жаль. Не то, чтобы он прощал персонажу трусость, эгоизм и прочее. Но жалел, как всякого, обделенного

чем-то хорошим и важным в жизни.

Потому и был таким разным, неповторяющимся, неуловимым всегда. Ускользящей реальностью.

Но как же так, я ведь прекрасно помню, как он рисует: ему не мешают болтовня, звонки, неразбериха, посторонние люди. Жалость требует какой-то особой сосредоточенности. О человеке ведь думать надо, чтоб его пожалеть.

— Ты о чем думаешь? — прерывает затянувшуюся паузу Муромцев. — Картинки нравятся?

— Да, но, знаешь, смотрю — и грустно делается. Они все на тебя похожи, и на меня немножко, и на себя тоже. И вообще... Живу как-то не так, делаю вроде, что полагается, а все не то. У тебя вон на худой конец картинки есть, а у меня?

— Да что ты?! Замечательно все делаешь, честное слово! Знаешь, как мне нравится... Ты вообще молодец, и не хандри! — (Это он меня жалеет теперь, большой, добрый Муромцев, беспокойный человек) — А мне-то что же говорить тогда? И жаловаться вроде грех: в театре новый спектакль играю, снимаюсь; но обидно все же. Где роли, роли-то где? Нету. И в чем дело, не пойму (теперь себя пожалел). — Сейчас вот совсем расстроюсь, и буду рисовать. А хочешь, картинку подарю? Какую — выбирай.

..У меня на стене — зеленое небо и зеленая вода с лунной дорожкой. А между ними — темная сжавшаяся фигурка с узелком в ногах. Когда я долго смотрю на нее, мне начинает казаться, что это я. А иногда — (то ли неузнаваемо перевоплотившийся — то ли в нее, то ли в меня, то ли в лунную дорожку) артист Муромцев. Как бы он нас всех так понял и так пожалел, если б не перевоплотился, если бы не побыл нами хоть ненадолго?

Он звонит мне из гостиницы: приехал на съемку, ждет, когда его увезут на студию. Собирает, что сидит в номере приятеля, который уже на студии и в гостиницу больше не вернется, а чтоб не было обидно за впускую оплаченный шикарный номер, Муромцев усердно вкушает все блага комфортабельной дорогой гостиницы: принял душ с дорожки, завернулся в огромную простыню, завалился на крахмальную постель и, беседуя по телефону, накуривает полную хрустальную пепельницу и пьет пиво из гостиничного хрустального стакана.

Он долго и смешно рассказывает все столичные новости. Разговор переходит на фильм, в котором сейчас занят. Увы — опять эпизод. Хотя и хороший.

— Ну, в общем, это ведь нормально, — пытаюсь утешить его я. — Тем более, что и компания собралась сильная, и оператор старший друг, и главное, режиссер хороший. Вас все-таки связывают давние отношения, как-никак, четвертую картину вместе делаете.

— Угу, — простуженно басит Муромцев. — Четвертая картина. И во всех четырех главные роли — мои, а играл не я. И уж в двух-то из них он точно хотел снимать меня. И пробы были, знаешь какие! Но подумал-подумал...

И мы вновь возвращаемся на круги своя. Чем больше проходит времени, тем отчетливее начинаю понимать, что Муромцев не "накручивает". Что все, к сожалению, правда. Ну, па-че-му?

А ведь достаточно посмотреть его спектакли, его картины — какого феноменального богатства мир откроется взору. Прямо, космос какой-то ей-богу. Да что — картины! Картинки его достаточно посмотреть, чтоб обнаружить этот тайный мир.

Вспоминаю, как ворчал он обиженно: "И ты туда же! Как дружить, так со мной, а как писать..."

Муромец, дорогой, бумага тесна для тебя, а перо мое — слабо. Но смотри — пишу!